
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ

К. Ханн

В статье анализируется тот удивительный симбиоз стабильности и изменчивости, который характеризует состояние сельского хозяйства после падения социалистических режимов. В фокусе внимания автора находятся именно отношения, а не права собственности, потому что применяемые в своей «стандартной», а не адаптированной к особенностям каждой отдельной страны либеральные модели предоставления права частной собственности натолкнулись на элементы социальной идентичности и сложившиеся нормы и ценности «общинного» образа жизни на селе, что и определило резкую диверсификацию итогов деколлективизации на постсоциалистическом пространстве.

Данная статья представляет собой главу из книги «The Postsocialist Agrarian Question. Property Relations and the Rural Condition» // Halle Studies in the Anthropology of Eurasia / General editors: C. Hann, R. Rottenburg, B. Schnepel, S. Shimada. Vol. 1. Münster: LIT VERLAG, 2003. P. 1–41 (Постсоциалистический аграрный вопрос: Отношения собственности и состояние сельского хозяйства / Под ред. К. Ханна, Р. Роттенберга, Б. Щнепеля, С. Шимады. Ч. 1. Мюнстер: ЛИТ ВЕРЛАГ, 2003. С. 1–41).

Крис Ханн – ответственный редактор и один из авторов сборника статей «Постсоциалистический аграрный вопрос. Отношения собственности и состояние сельского хозяйства». Данный сборник включает в себя первый цикл проектов, выполненных на базе Института социальной антропологии им. Макса Планка (Германия) в рамках экономико-антропологического изучения трансформаций, произошедших в аграрной сфере постсоциалистических стран. Работа по проекту «Постсоциалистический аграрный вопрос» была начата в конце 1999 года и частично продолжалась и в период публикации сборника в 2003 году. Книга представляет собой коллекцию кейс-стади, выполненных по всем законам данной тактики качественного исследования: читателю предлагаются детализированные описания конкретных «кейсов» (деревни в Южной Словакии, горного региона в Болгарии, двух областей в Восточной Германии и т. д.), сопровождаемые авторскими комментариями и выводами о возможных типологических синдромах для рассматриваемой страны или постсоциалистических реалий в целом.

Ключевые слова: социалистическая коллективизация, постсоциалистическая деколлективизация, права собственности, отношения собственности, моральная экономика

Ни один другой термин не способен описать, каким образом в крестьянских и ранних индустриальных странах множество «экономических» отношений регулируется немонетарными нормами. Существует целая сеть традиций и привычных норм поведения, которым угрожает монетарная рационализация жизни, — они осознают себя как «моральная экономика». В этом смысле моральная экономика, по сути, — противовес «свободной рыночной» экономике.

Э.П. Томпсон. Общепринятые нормы

...Поездки на поезде с запада на восток Европы наводят на вполне очевидные размышления о том, почему так разительно различается проплывающий за окнами не природный, а сельскохозяйственный ландшафт. На наш взгляд, не различие экологий, а разная политическая история, особенно опыт социалистической коллективизации, предопределил, скажем, столь большой размер полей в бывшей ГДР. Если проехать дальше на юго-восток Польши, поля становятся значительно меньше, а, пересекая границы западной Украины, видишь, что поля опять напоминают Восточную Германию. Подобные загадки ландшафта разрешаются с помощью исторического исследования существовавших систем землевладения, которое покажет, что в Восточной Германии, как и во многих районах восточнее Эльбы, поля всегда, задолго до коллективизации советского типа, были больше, чем на западе, соответствуя размерам производственных единиц.

Связаны ли эти различия с отношениями собственности? В Польше — да: «семейные фермы» были доминантной формой землевладения как при социализме, так и после развала совхозов и колхозов в 1990-х годах. В постсоциалистических Германии и Украине крупные производственные единицы не соответствуют единицам собственности. В Восточной Германии это несоответствие возникло в социалистический период: в ходе завершившейся к 1960 году принудительной коллективизации право частной собственности было сохранено юридически, но реально претендовать на него было затруднительно, тем не менее, даже номинальное право собственности упростило процесс деколлективизации в 1990-е годы. Крупные хозяйства сохранялись, но теперь они были вынуждены арендовать землю у множества мелких землевладельцев.

Украина отличается от Восточной Германии тем, что нынешние частные собственники в прошлом не владели землей. Советский Союз национализировал землю в 1918 году, но до сих пор государство не предоставило частным собственникам окончательных гарантий их прав.

В любом случае юридические прелести деколлективизации мало интересуют сельских жителей. На Украине перераспределение земель носило эгалитарный характер: большая их часть до сих пор обрабатывается крупными хозяйствами, наследниками колхозов и совхозов, хотя налицо и некоторая активизация частной инициативы. Новые сельские предприниматели организуют хозяйства по западной модели семейной фермы или как партнерские предприятия, которые обычно также базируются на родственных связях. В результате возникают новые формы неравенства: фермеры редко владеют достаточной землей для создания жизнеспособного предприятия, поэтому вынуждены конкурировать с сохранившимися колхозами за заключение договоров аренды со множеством частных собственников.

Отношения собственности оказывают сложное воздействие на сельское хозяйство, весьма различающееся даже по регионам одной отдельной взятой страны, поэтому название нашего сборника «Постсоциалистический аграрный вопрос» — крайнее упрощение анализируемых реалий не только на сегодняшний день, но и на 1899 год, когда был опубликован «Аграрный вопрос» Карла Каутского. Тем не менее понятие «аграрный вопрос» позволяет сконцентрировать внимание на широком пространственно-временном контексте, с одной стороны, технологической эффективности сельскохозяйственного производства, прав собственности и рыночных отношений, с другой — политических, социальных и нормативных последствий институциональных преобразований в сельских сообществах.

Теории, претендующие на *всеохватывающую* валидность, следует отличать от тех, что настаивают на необходимости учитывать *специфические* условия сельскохозяйственного производства и уклада жизни. Большинство экономических антропологов придерживаются второго подхода, который и представлен в нашем сборнике: во-первых, мы различаем три исторических периода — до, во время и после социализма; во-вторых, разграничиваем «объективные» изменения политико-экономической ситуации и их «субъективное» восприятие, которые неразрывно связаны в рамках моральной экономики и на скользкой идеологической стезе. Социально-антропологическое исследование не может претендовать на точность лабораторного тестирования, но это не означает, что антропологам следует вообще отказаться от следования стандартам строгого научного познания. Нашим исследовательским инструментарием является полевая работа, а именно — симбиоз относительно формализованных методик (интервью с официальными лицами, опросы местного населения и т. д.) и «включенного наблюдения» как совместного, максимально ненавязчивого проживания с людьми, за которыми ведется наблюдение, что необходимо для понимания их социального опыта. Поскольку элемент неопределенности — неизбежный

спутник полевой работы, жесткая проверка гипотез в столь диверсифицированных условиях крайне затруднена.

Универсалистские теории и аграрная специфика

...Международное социалистическое и коммунистическое движение определяло себя как пролетарское, то есть движение рабочего класса. Общеизвестна личная неприязнь Маркса к европейскому крестьянству его времени — на основе не систематических, а отдельных наблюдений за виноградниками и прибрежными районами Триера он сделал вывод об «идиотизме сельской жизни» и неспособности французского крестьянства на свершение классово осознанных действий. Ревизия работ Маркса изменила привычное представление о его взглядах на крестьянство — он хорошо отзывался об английских мелких землевладельцах и высоко оценивал потенциал сельского населения отсталой России [Leonard and Kaneff, 2002; Shanin 1984]. Тем не менее сложно отрицать, что Маркс и Энгельс были модернистами, не питавшими ностальгических чувств по прежним, сельским формам жизни, поэтому их «ортодоксальные» последователи не видели необходимости разрабатывать специальную теорию аграрного развития.

Значительные различия доиндустриальных обществ, с которыми столкнулся капитализм в своем бурном развитии, заставили марксистов изменить свои взгляды не только относительно отсталой России, но и более плотно заселенной и развитой Германии. Возник вопрос: как должны коммунисты-революционеры работать с тем общественным слоем мелких производителей, который, в отличие от рабочих, владел собственными средствами производства и не был заинтересован в английском или американском варианте капиталистического развития? В соответствии с ортодоксальной позицией, выраженной Каутским в 1899 году, рано или поздно данный слой должен был пройти все этапы капиталистической экспроприации, то есть не было необходимости разрабатывать отдельную модель развития аграрного сектора. Практически в это же время Ленин крайне избирательно проинтерпретировал статистические данные и сделал вывод, что капитализм уже широко распространен даже в отсталой России [Kingston-Mann, 1983]. Позже бесчисленные «нео-марксисты» поставили под сомнение данные взгляды на аграрный сектор, хотя они имели решающее политическое значение.

Диаметрально противоположна марксизму либеральная традиция экономической мысли, которая заменяет понятия эксплуатации и дополнительной стоимости понятиями максимизации прибыли и рациональных индивидов, считая их социологические и политические элементы второстепенными для экономических исследований. «Нео-либеральная» парадигма утверждает, что логика рыночной экономики работает во всех

секторах экономики, включая сельское хозяйство. В качестве аксиомы выступает утверждение, что возможность покупки и отчуждения земли наряду с охраной частной собственности позволяет фермеру работать по-новому и максимально эффективно. Либеральные экономические теории получили признание в конце девятнадцатого века, новый виток их популярности пришелся на конец двадцатого века. Коллапс социалистических систем сопровождался последовательными политическими шагами по маркетизации экономики и введению частной собственности в сфере производства, включая сельское хозяйство. Однако, как и в случае с марксизмом, в либеральном лагере существует своя дифференциация: неоклассическая парадигма предложила теорию «новой институциональной экономики» — не отказываясь от базового постулата индивидуальной рациональности, она формулирует более реалистическое понимание ограничений поведения экономических акторов.

Ортодоксальные последователи марксистской и либеральной аналитических традиций не считали необходимым адаптировать общие постулаты своих теорий к специфическим особенностям сельскохозяйственного производства — это было сделано только в рамках третьей традиции, в частности, в работах аграрного экономиста А.В. Чаянова. В отличие от Ленина, он говорил не о поляризации российского села на капиталистические классы, а о резком отличии села от города как центра индустриализации: фабрика находится вне домохозяйства и использует свободный наемный труд — на селе члены домохозяйства, даже руководствуясь рациональными соображениями, принимают иные решения, потому что трудовая сила здесь состоит из членов семьи. В отличие от Ленина, который отмечал наличие в деревне класса эксплуататоров, кулаков, Чаянов был «методологическим индивидуалистом» и говорил о «само-эксплуатации» сельского домохозяйства (не рассматривая детально внутренние возрастные и гендерные различия), объясняя неравенства в землевладении и труде в терминах цикла развития и изменения «соотношения труда и потребления». Надежды Чаянова на постепенную трансформацию российского села посредством формирования кооперативов были разрушены коллективизацией.

Идеи Чаянова получили дальнейшее развитие в антропологии и социологии для изучения особенностей жизни в локальных сообществах, которые имеют важные экономические и социальные последствия. Так, Джордж Фостер в 1965 году адаптировал понятие «ограниченное благополучие», разработанное в рамках изучения мексиканских крестьян в 1950-х годах, для объяснения нежелания большинства сельских жителей, особенно в России, вести предпринимательскую деятельность, то есть изымать свою землю из коллективного производства. Джеймс Скотт в 1976 году адаптировал понятие моральной экономики, введенное Э.П. Томпсоном для анализа нестабильных городских рынков на заре

индустриализации, для объяснения «самосохранительных» стратегий крестьянского поведения в Юго-Восточной Азии (коллективное благополучие считается приоритетным) – многие кейс-стади данного сборника выявили аналогичные тенденции в ходе деколлективизации. Понятие моральной экономики весьма многогранно – другой контекст его использования очевиден в описании типичной деревни одного из богатейших регионов Китая, где сельское хозяйство перестало быть основой местной экономики: полученные в результате массовых радикальных изменений «дивиденды» были результатом родственных взаимосвязей. Невзирая на то, процветает местное сообщество или же находится на грани исчезновения, анализ происходящих в нем изменений в отношении собственности не может игнорировать нормы и ценности, определяющие личностную и социальную идентичность его членов. Хотя наш подход не отличается объяснительной элегантностью марксистской и неоллиберальной парадигм, он предлагает более реалистичный взгляд на динамику социальных изменений в постсоциалистических странах.

Социалистические и постсоциалистические реалии

Базовые институциональные формы внедрения городского индустриального разделения труда в сельскохозяйственный сектор использовались практически во всех социалистических странах Евразии, однако наиболее репрессивный характер они имели в Советском Союзе и Китае, где ход и последствия коллективизации привели к огромным человеческим жертвам – об этом нельзя забывать. В каждой отдельно взятой стране процесс коллективизации имел свою региональную дифференциацию: идеология перемен состояла в признании верховенства государственной собственности над коллективной, а коллективной – над частной буржуазной, однако Маркс и Энгельс не оставили конкретных рекомендаций по воплощению данной идеологии в аграрном секторе, поэтому итоги социалистических трансформаций всегда явственно отражали особенности конкретных сельских сообществ.

Практически повсеместно социалистическая система имела дуалистический характер: частные домохозяйства, наряду с колхозами и совхозами, выполняли ряд сельскохозяйственных работ и держали скот. «Частные наделы» находились под контролем колхозов и совхозов, но даже в Советском Союзе права домохозяйств на государственное обеспечение земель для удовлетворения своих потребностей и на продажу излишков оберегались и высоко ценились. Западные исследователи времен холодной войны считали, что, несмотря на незначительные земельные размеры, «частный сектор» вносил значимый вклад в сельскохозяйственное производство, но упускали из вида, что данное якобы очевидное свидетельство неэффективности социалистического произ-

водства было конструктивным компромиссом и альтернативой западной модели капиталистического семейного фермерского хозяйства.

В социалистической модели коллективное владение землей упрощало объединение земельных участков и обеспечивало эффективность механизированного производства, особенно зерновых. Конечно, сезонность и другие характеристики сельскохозяйственного труда усложняли осуществление здесь контроля по типу промышленного производства, поэтому в тех отраслях, которые было сложно механизировать, для обеспечения высокой производительности был сохранен принцип «само-эксплуатации» домохозяйства (животноводство и виноградарство). В целом, несмотря на частные конфликты между руководством и рядовыми работниками, возникали новые формы организации сельскохозяйственного производства. Крупные хозяйства предоставляли своим работникам дешевые товары, в частности кормовые, и заключали с ними договоры на реализацию продукции их домохозяйств. Сельские жители смогли модернизировать свои условия жизни в соответствии с городскими стандартами благодаря проектам электрификации и водоснабжения, участию в несельскохозяйственных видах деятельности, получению стабильных зарплат, включению в систему государственного страхования и пенсионного обеспечения. Но, несмотря на все нововведения, сельские жители продолжали считать себя и воспринимались другими социальными группами как «крестьяне», потому что продолжали самостоятельно выращивать продукты питания, часть которых продавали.

Конечно, все сказанное выше — достаточно условные обобщения, неприемлемые для всех случаев. Некоторые страны, например Восточная Германия, были технологически развиты и имели устойчивые традиции предпринимательства еще до социалистического периода, а множество малых деревень в Советском Союзе были лишены ресурсов и запланированы на исчезновение. Социалистическое развитие было не менее неравным, чем капиталистическое, тем не менее, под влиянием общих характеристик коллективизации в Евразии, после первоначального периода жесткого сопротивления и политики массовой индустриализации, все последующие поколения сельского населения считались «победителями» социалистической революции [Tericht, 1975]. Впервые после возникновения аграрных обществ еще в период неолита государственные ресурсы систематически инвестировались в сельское хозяйство, а не изымались из него. Впервые в мировой истории крестьяне, движущая сила революций в отсталых странах, получили преимущества в результате пролетарской революции — улучшения коснулись не только инфраструктуры и образования, но уровня потребления и качества жизни. Многие сельские жители не очень понимали, что делать со свалившимся на них благосостоянием, — они помогали своим родственникам в недоурбанизированном индустриальном секторе продуктами

и деньгами, формируя прочные сети семейной поддержки вопреки государственной политике первых лет строительства социализма.

С началом деколлективизации именно государственные инвестиции первыми попали под удар новой логики «рыночной экономики». Однако и здесь были исключения – в Восточной Германии, благодаря поддержке Европейского Союза, государственные субсидии фермерам значительно выросли. Во всех остальных странах «ножницы цен» в соотношении города и села оказались обращены против производителей сельхозпродукции. По мнению западных экономистов, доходы в социалистическом сельском хозяйстве были искусственно завышены, поэтому их следовало немедленно урезать [Newbery, 1991].

Было бы неверно рассматривать деколлективизацию как исключительно внешнее навязывание неолиберальной модели в ситуации политического коллапса – существовали и внутренние силы, настаивающие на восстановлении прав частной собственности. Например, исследование в Хорватии показало, что многие критикуют политику национализации и считают необходимым вернуть дома и другую собственность их первоначальным владельцам. Многие пожилые сельские жители Восточной Европы настаивали на восстановлении утраченных в 1940-е годы прав собственности и испытывали глубокое разочарование, если не могли вернуть бывшие земельные участки своей семье, с одной стороны. С другой стороны, далеко не всегда можно было найти наследников прежних землевладельцев. В любом случае наивно было надеяться на мгновенную капиталистическую реорганизацию сельского хозяйства. Макроэкономическим итогом происходящих изменений стал повсеместный резкий спад сельхозпроизводства: крупные хозяйства были вынуждены арендовать землю у частных собственников; значительная часть земель была выведена из сельхозпроизводства – миллионы новых землевладельцев были настолько счастливы обладать собственным наделом, что отказывались сдавать его в аренду, даже не ведя хозяйства по очевидным причинам преклонного возраста, отдаленного проживания и отсутствия сельхозинвентаря и техники.

Сельские жители прекрасно осознают экономические и социальные последствия развала социалистической системы хозяйствования, лишь немногие из них считают, что деколлективизация достигла запланированных результатов. Даже в Венгрии потомки раскулаченных в 1950-х годах крестьян крайне редко заявляли о своих правах. Самыми успешными предпринимателями стали бывшие колхозные руководители, обладавшие «социальным капиталом» и сетевой поддержкой, столь необходимыми в нестабильных условиях складывающейся рыночной экономики [Kovacs et al., 1998; Lampland, 2002; Swain, 1999]. Таким образом, помимо экономического ослабления фермерского хозяйства – внутренне (сохранялась прежняя организация производства и форм

собственности) и внешне (относительно городской индустрии) — деколлективизация усилила социальную дифференциацию села, создав барьеры и ограничения, которые была призвана разрушить [Swain, 2000]. Обратимся к конкретным примерам.

Россия

Российское крестьянство освободилось от рабства в 1861 году, и все последующие десятилетия интеллектуалы активно спорили о «коммунистической» основе первичной крестьянской общины — этот образ привлекал популистов (народников) и марксистов. Реформы Столыпина ускорили обозначенные Лениным в 1899 году тенденции, содействовав формированию вне общины нового класса сельских предпринимателей. Трактовки данного периода в истории России прямо противоположны: для большевиков столыпинские фермеры однозначно были кулаками-эксплуататорами [Treadgold, 1955], сегодня исследователи считают, что в последние годы царизма сельское хозяйство развивалось прогрессивно [Kerans, 2001].

Противостояние реалистично-прагматичного и ортодоксального марксистско-ленинского взглядов на аграрный вопрос продолжалось в течение короткого периода НЭП [Danilov, 1999]. Сталин исключил из политической жизни Чайнова и Бухарина и начиная с 1928 года возглавил политику массовой коллективизации — колхозы и совхозы должны были работать по индустриальному образцу. Расчет был скорее политическим, чем экономическим, однако подавление рыночных принципов хозяйствования и прав частной собственности на средства производства свело на нет это различие. Коллективизация проводилась посредством зверских репрессий и оставила на теле российского общества самые страшные шрамы за всю его социалистическую историю. Казалось бы, сокращение потребления на селе должно было освобождать ресурсы, в том числе трудовые, что могло способствовать ходу индустриализации, однако на деле сложно говорить о «свободном» труде, а создание «фабрик на селе» оттягивало ресурсы от других индустриальных объектов, тормозя промышленное развитие страны. Советская паспортная система затрудняла миграционную активность, поэтому в селах оставалось очень много населения — по критериям западного агробизнеса, в совхозах и колхозах наблюдался избыток рабочей силы.

С экономической точки зрения, даже без учета неадекватных инвестиций, функционирование совхозов и колхозов было чудовищно неэффективным. Однако антропологов интересуют другие «показатели» их деятельности, а именно: как формальные структуры и диктуемые совхозам и колхозам сверху плановые показатели модифицировались путем неформальных взаимодействий, манипуляций и переговоров [Humphrey, 1998]. Колхозы позволяли своим работникам обрабатывать

собственные земельные участки, что можно рассматривать как российскую традицию коллективизма, которую пытался разрушить еще Столыпин. Несмотря на механизацию и иные элементы «модернизации», сельская жизнь сохраняла фундаментальные элементы моральной экономики досоциалистической общины. Одни исследователи считают, что данная традиция была разрушена в ходе технологических реформ и организации фермерских хозяйств в 1970–1980-е годы [Fondahl, 1998]; другие полагают, что это произошло в 1990-е годы с началом постсоциалистических трансформаций [Anderson, 1998].

Приводимые нами данные имеют ограниченно-локальный характер, но позволяют понять, почему большая часть сельского населения не воспользовалась появившейся в 1990-е годы возможностью стать независимыми предпринимателями. Хотя формально колхозы были отменены, и земля распределялась между частными собственниками, крупные хозяйства сохранились де-факто, сменив только название: управление осталось в руках бывшей партийной элиты; по экономическим соображениям хозяйства были сокращены, но продолжали оказывать «неформальную» поддержку своим членам. Аналогичные тенденции прослеживаются и в тех районах России, где основу экономики составляют лесоводство, охота, рыболовство и оленеводство (по советской и нынешней российской классификации – это виды сельскохозяйственной деятельности, то есть эквивалентом земельного надела здесь выступает рыбная ловля и наличие собственного оленя в колхозном стаде), поэтому экономические стратегии в «дирижистской» республике Саха и неолиберальном Ямале весьма схожи. Для отдаленных сибирских районов, бывших дотационными при социализме, сокращение государственной поддержки стало катастрофой и повлекло за собой создание множества организационных форм, напоминая тем самым период НЭП. Конечно, сегодня еще сложно судить о том, какие из этих форм окажутся наиболее жизнеспособными, но можно уверенно утверждать, что отдельные коллективные институты и наследие коллективистской моральной экономики еще долго будут играть значимую роль в жизни российского общества [Humphrey, 1998; Konstantinov and Vladimirova, 2002].

Китай

Китай – «по преимуществу аграрная страна» [Gray, 1984], в которой экология и технология выращивания риса определили интенсивный путь развития сельского хозяйства. Рисоводство детерминировало высокую плотность сельского населения, сложные рыночные сети и высокоразвитый торговый сектор. Китай не смог осуществить индустриальный прорыв, инициированный северо-западной Европой, – его отставание было заложено колониализмом и торговым капитализмом девятнадцатого и двадцатого веков. Кризис села усугубляли несбалансированные

отношения собственности — сельские жители были вынуждены платить высокую арендную плату живущим в городах землевладельцам.

После коммунистического переворота 1949 года Китай стал последовательно создавать колхозы. Ключевым отклонением от советской модели стал быстрый переход от колхозов к «народным коммунам» при Мао. Последние представляли собой группу деревень, объединенных ответственностью за все производственные, социальные, политические и экономические вопросы. Создание коммун стало экономической катастрофой, унесшей больше жизней, чем советская коллективизация. Однако, несмотря на весь хаос Культурной революции в конце правления Мао, ситуация не была столь мрачной, как считается на западе: далеко не вся частная собственность стала коммунальной — сельские жители полноправно владели своими домами, которые могли передавать по наследству. Кроме того, маоистская идеология стимулировала быстрое развитие индустрии и «сопутствующей инфраструктуры» в сельской местности, что привело к процветанию многих периферийных районов [Ruf, 1998].

После смерти Мао в 1978 году начался распад коллективных институций, однако экономическая инициатива домохозяйств была успешно возрождена без восстановления частной собственности на землю — заключались долгосрочные договоры аренды (первоначально на пятнадцать лет, позже договор продлевался). Аграрный сектор процветал отчасти потому, что макроэкономика не играла особой роли в рисоводстве, поэтому перевод производства на уровень домохозяйств не снизил уровень его эффективности. В целом для Китая характерны значительные региональные различия в развитии сельского хозяйства и неоднозначность отношений собственности: с одной стороны, это опровергает высказывания экономистов, что однозначное определение прав собственности — первооснова развития и инноваций; с другой — рост класса предпринимателей не ограждает людей от посягательств со стороны сильного государства. Таким образом, резкий экономический рост и развитие предпринимательства происходили в Китае на фоне сохранения «традиционных» коллективистских институтов родства и религиозной общины [Brandtstädter, 2001].

Восточная Германия

Важность изучения Германии обусловлена рядом причин: во-первых, ее историческим значением не только для развития марксистской традиции; во-вторых, фактом политического разделения страны в 1945 году, что дает возможность сравнительного анализа Восточной Германии и ФРГ. Структура землевладения в западной части Германии была иной задолго до 1945 года; различия двух Германий, возникшие после 1960-х годов, объясняются не только опытом коллективизации

и влиянием социалистической идеологии, но и множеством внешних факторов, в частности широким государственным субсидированием сельского хозяйства в ФРГ. Несмотря на очевидные различия, можно отметить и целый ряд сходств, в частности, как и везде в Европе, доля населения, занятого в сельском хозяйстве, резко сократилась после 1945 года по причине миграции в города.

Вектор трансформаций после объединения Германии в 1990 году был направлен, в первую очередь, на адаптацию восточной экономической системы к западной системе, однако различия между ними сохраняются до сих пор. За исключением крупных предприятий, национализированных по земельной реформе 1945 года, в Восточной Германии бывшие землевладельцы были восстановлены в правах собственности, поэтому карта землевладений здесь более фрагментированная, чем на западе. Новые собственники получили гранты на восстановление хозяйств, кредиты на льготных условиях и другие субсидии [Koester and Brooks, 1997]. Но, несмотря на все эти меры, большая часть земель до сих пор обрабатывается крупными предприятиями: субсидии Европейского Союза позволили бывшим колхозам максимально быстро и эффективно адаптироваться к новым экономическим условиям. Однако они были вынуждены существенно сократить свой штат, в итоге производительность с гектара на западе Германии выше, чем на востоке, но производительность на человека, наоборот, выше на востоке, причем независимо от формы собственности [Fiege and Hinners-Tobrägel, 2002]. Восточно-германский опыт адаптации к правовым и экономическим требованиям развитой капиталистической экономики показывает, что «индустриальная» модель социалистического сельского хозяйства далеко не настолько неэффективна, как это обычно предполагалось, по крайней мере, в тех своих областях, что требуют макроэкономического управления.

Венгрия

История венгерского сельскохозяйственного развития считается редким случаем успешного социалистического строительства [Swain, 1985]. Когда началась коллективизация (1959–1961 годы), Венгрия была отсталой неиндустриализированной страной, если сравнивать ее с Восточной Германией или Чехией, но развитой – относительно Советского Союза и своих юго-восточных европейских соседей. До 1968 года здесь возник некий симбиоз колхозного и частного сельскохозяйственного производства, новые экономические механизмы расширили автономию руководителей колхозов и стимулировали развитие частной инициативы. В ряде регионов страны прагматическая адаптация к местным условиям изменила социалистические принципы хозяйствования, гарантировав преемственность традиционных семейных форм. Сегодня более половины населения Венгрии, включая горожан, имеет небольшие

садовые участки, которые стали источником спасения в ситуации экономического кризиса.

Чтобы стать активным участником «второй экономики», совершенно необязательно вести хозяйство — достаточно быть собственником земли и, скажем, держать скот. Когда ортодоксальные венгерские марксисты-ленинисты озаботились вопросом быстрого роста доходов сельского населения по сравнению с городским в начале 1970-х годов, они приняли ряд мер по сокращению «крестьянской» деятельности — сельские жители ответили снижением производительности труда. Нежелательные социальные последствия данного снижения и активность аграрного лобби заставили правительство изменить аграрную политику, благодаря чему прежний уровень производительности труда был восстановлен [Swain, 1981] — это говорит о «рыночно-социалистическом» характере венгерских реформ. Тесное взаимодействие домохозяйств и колхозов не прекратилось и в сложной экономической ситуации 1980-х годов. Дальнейшие меры по децентрализации гарантировали относительное экономическое благополучие села, хотя идеологически обусловленное нежелание властей впустить частный капитал в сельское хозяйство вело к стагнации производства [Kovach, 1999]. По иронии судьбы производительность сельского хозяйства и размеры экспорта достигли своего исторического пика именно в конце 1980-х годов, незадолго до смены партии власти.

При венгерском рыночном социализме постепенно сокращалась численность населения, проживающего в сельской местности и занятого в аграрном секторе: его доля все еще превышала показатели большинства западноевропейских стран, но резко снизилось по сравнению с Польшей, где не проводилось коллективизации. В небольшой, компактной Венгрии сельские жители могли работать в городах, помогая своим родственникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, в свободное время. Социалистические предприятия гарантировали постоянный доход даже беднейшим, неквалифицированным работникам, что было крайне важно для страны, где значительная часть сельского населения, особенно выходцы из шахтерских семей, не имела опыта землевладения и ведения индивидуального фермерского хозяйства.

В постсоциалистический период показатели производительности и занятости в аграрном секторе резко упали. Представители Партии независимых землевладельцев работали в двух правительствах, но не смогли достичь своей цели — возвращения земель прежним владельцам. В Венгрии был принят закон о компенсации, который предотвратил полный развал колхозов и совхозов и одновременно способствовал становлению конкурентоспособного частного сектора. Консервативное правительство 1998–2002 годов разрабатывало планы создания в Венгрии класса фермеров численностью в 5 000–6 000 человек до вступления страны в Европей-

ский Союз, но они были озвучены очень аккуратно, чтобы не подорвать доверия сельских жителей, не поддерживавших эти планы (их реализация могла привести к тому, что в каждом селе всей землей владели бы две-три фермы). Население Венгрии сегодня задается вопросом, что станет с теми людьми, кто потерял работу на закрывшихся заводах и развалившихся колхозах, многие опасаются возврата к досоциалистическому противостоянию города и деревни. В 1930-е годы немеханизированное производство гарантировало занятость сельского пролетариата, по крайней мере, в периоды сбора урожая и других важных сельскохозяйственных работ, в постсоциалистических условиях завершённые механизация и индустриализация аграрного сектора угрожают выживанию сельского андекласса.

Болгария

Болгария — тоже достаточно позитивный пример сельскохозяйственного развития при социализме. Колхозы и совхозы полностью вытеснили частные хозяйства к 1960 году, в 1965 году они получили конституционное право землевладения [Wädekin, 1982]. Сельские жители продолжали идентифицировать себя со своими колхозами даже после их объединения в гигантские «агро-индустриальные комплексы». В течение всего социалистического периода благосостояние сельских домохозяйств постоянно росло благодаря наличию собственных земельных участков — часть продуктов предназначалась для собственного потребления, часть продавалась на рынке или колхозам, часть переправлялась родственникам в города. Уровень жизни в деревне постоянно повышался — этому способствовали не только государственные инвестиции в сельскую инфраструктуру, но и создание мелкого несельскохозяйственного производства [Creed, 1995, 1998].

Как и в Венгрии, после 1989 года сложившийся симбиоз распался и повлек за собой резкий спад производства и снижение уровня жизни. Однако в Болгарии социалистические институты в аграрном секторе ликвидировались более тщательно, а права собственности на землю были возвращены прежним владельцам (процесс реституции затронул не только землю, но и леса). В итоге в некоторых регионах людям не оставалось другого выбора, кроме как начать вести собственное хозяйство. Выжившие колхозы были вынуждены конкурировать с новыми собственниками за право аренды земель. Многие сельские жители остались верны своим колхозам, особенно если их руководство продолжало оказывать социальную поддержку населению, сохраняя, тем самым, идентичность местного сообщества [Kanef, 1996, 2000]. Полная реституция частной собственности привела к консолидации земельных рынков и, в отличие от Венгрии, усугубила сложности, с которыми столкнулись новые частные землевладельцы, — в этих условиях доминирование крупных сельскохозяйственных структур было неизбежным [Meurs, 2001]. По сравнению

с другими постсоциалистическими странами, руководители колхозов и совхозов в Болгарии обладали меньшими предпринимательскими способностями — многие вообще оставили занятия сельским хозяйством. «Имеющие давнюю хронологию традиции кооперации в болгарских деревнях были слишком сильны для того, чтобы горсть людей могла управлять предприятием, на котором ранее работали сотни людей» [Swain, 2000].

Как и во всех постсоциалистических странах, экономический кризис в Болгарии возродил прежнюю жесткую зависимость домохозяйств от самообеспечения, в условиях краха денежной экономики распространились бартерные отношения, многие горожане рассчитывали на своих деревенских родственников и неформальные сети поддержки для получения необходимых продуктов питания [Cellarius, 2000; Chevalier, 2001; Giordano, Kostova and Lehmann-Minka, 2000]. Однако, в отличие от Венгрии, сельские жители сохранили лояльность социалистической партии [Creed, 1995], поскольку их «субъективная» оценка достижений социалистического периода учитывала реально достигнутый прогресс, — в Венгрии же, наоборот, те, кто воспользовался достижениями социалистической аграрной политики, оказались неблагодарными и не отдали свои голоса воссозданной социалистической партии.

От прав собственности к отношениям собственности

Отношения собственности оказались в фокусе нашего внимания потому, что юридически санкционированное обладание «вещами» и отношения по поводу этих «вещей» — основа функционирования любой социальной системы. Однако необходимо расширить данное понятие за пределы правового поля, поддерживающего частные права, включив сюда публичные отношения. В рамках модели «многослойного» общества понятие «отношения собственности» проливает новый свет как на суть социализма, так и на его последствия.

Стандартная антропологическая трактовка собственности состоит в понимании ее как «пучка прав» на вещи, то есть антропологи изучают различные группы и организации, обладающие правами, не забывая об особенностях самих «вещей», например: леса намного сложнее поддаются приватизации, чем земля; очевидно различие в рассматриваемом смысле сибирской тундры и пасущихся в ней оленей; интенсификация труда и перевод производства на уровень домохозяйств в Китае дали весомый экономический эффект в рисоводстве, те же меры в пасторальной «социотехнической системе» Монголии были неэффективны и привели к экологическим проблемам.

Сельское хозяйство наглядно демонстрирует неадекватность упрощенных — как индивидуалистических, так и коллективистских — моделей землевладения и иных форм собственности: евразийский аграрный

сектор всегда базировался на сочетании коллективных и частных прав собственности. Макс Глакман (1965) предложил различать в контексте земельной собственности «производительное сословие» и «административное сословие» (иерархия властных структур, обладающих правом распределения ресурсов) — данная модель применима и для анализа советских колхозов [Humphrey, 1998]. В современных капиталистических обществах «полное владение» обозначает наличие не абсолютных, а законодательно ограниченных государством прав на использование, распоряжение и отчуждение земли.

И марксизм, и неолиберализм придают большое значение принципам владения собственностью. В либеральной традиции частная собственность, наряду с политической свободой и другими ценностями, — основа эффективного рынка, создающая нужную структуру стимулов поведения его участников. Наряду с ожидаемой материальной выгодой (максимизация дохода), психологические и эмоциональные факторы играют важную роль в объяснении привязанности людей к «вещам» и их передачи [Schlicht, 1998]. Эгалитарное распределение земли было принципиальным ожиданием популистских движений в большинстве восточноевропейских стран в досоциалистический период. Слово «популизм» сегодня считается оскорбительным, но, по сути, популистское движение демонстрирует общую направленность стандартной либеральной модели. В начале двадцать первого века сохраняется убеждение, что частные фермы и эффективные рынки земли — необходимое условие для роста инвестиций и экономики в целом, развития систем кредитования и долгосрочного социального страхования населения. Критически настроенный антрополог предьявляет стандартной либеральной модели следующие вопросы: насколько зафиксированное законодательно право частной собственности реализуемо на практике? насколько наличие (или отсутствие) данного права соотносится с максимизацией экономической эффективности? насколько оно отражает преследуемые людьми цели в рамках владения и передачи объектов собственности?

В стандартной марксистской контрмодели частная собственность на средства производства — источник эксплуатации, поэтому ее должны вытеснить новые, коллективные формы собственности (Сталин реализовал эту догму в аграрном секторе). Как и в случае с неолиберализмом, критически настроенный антрополог признает полезность марксистской идеальной модели, но формулирует ряд «эмпирических» вопросов: насколько законодательно закрепленные принципы коммунистической идеологии реализуемы на практике? насколько само их наличие (или отсутствие) согласуется с провозглашенным социальным равенством и централизованным планированием экономической эффективности? насколько они отражают преследуемые людьми цели в рамках владения и передачи объектов собственности?

Эти вопросы показывают ограниченность понимания собственности с точки зрения связи людей и вещей, то есть *прав* собственности. Антропологи дополняют юридические и экономические трактовки собственности, включая в ее определение *отношения* между людьми, их запросы и ожидания как членов общества [Hann, 1998]. Антропологическая аналитическая модель включает в себя четыре «слоя» социальной организации: идеология и культура; правовое регулирование; собственность как совокупность мультифункциональных взаимоотношений; действия в отношении собственности, сложным образом сочетающие в себе все перечисленные выше «слои». Таким образом, законодательные изменения представляют собой лишь часть второго слоя, поэтому должны рассматриваться в широком контексте. Например, гражданский кодекс, принятый большевиками сразу после революции, очень напоминал свой немецкий аналог, но это сходство ничего не говорит нам о реальных отношениях собственности на протяжении социалистического периода: необходимо рассматривать вертикальное распределение власти в системе «демократического централизма», учитывать влияние социалистической идеологии и культурных факторов на реализацию положений формального права. Взаимодействие множества потенциально конфликтных норм и правил владения и распоряжения собственностью формирует слой реальных социальных отношений (например, между работниками и руководством колхоза) и конкретных практик обращения с собственностью (например, способов обработки частных земельных наделов).

Отношения собственности при социализме и постсоциализме

Преимущества расширенного толкования отношений собственности очевидны при анализе процессов коллективизации и деколлективизации. Когда крестьяне в социалистических странах были объединены в колхозы, они понимали, что их права собственности на землю, инструмент и скот нарушаются, независимо от того, сохранялись они формально или нет. Субъективно данный опыт был настолько негативным, что все последующие поколения также определяли коллективизацию как урезание собственных прав, потерю независимости, вопиющее нарушение закона. Используемое нами расширенное толкование заставляет увидеть в новых формах коллективной собственности, которые имели скорее административную, чем правовую основу, новые возможности и права, например, гарантии занятости, пенсионного и медицинского обеспечения. В этом смысле социализм не является «вакуумом собственности»: современные реформы наглядно показали сельским жителям, как много они теряют, — коллективизация подразумевала принудительное

отчуждение «вещей», деколлективизация — прав на социальную поддержку. Таким образом, анализ всех «слоев» системы социалистической собственности в их «объективном» и «субъективном» измерении необходим для понимания сути постсоциалистических трансформаций.

Во всех странах, где прошла коллективизация, индивиды были лишены права собственности на землю и сельскохозяйственную технику. Вне социалистического производства частная собственность доминировала в сфере потребления, став основным стимулом интенсивного развития «второй экономики». В этом смысле между городом и селом возникли существенные различия: лишь незначительная часть горожан была собственниками своего жилья, в отличие от сельских жителей, которые могли передать свой дом и хозяйство по наследству или продать. На протяжении социалистического периода в городах постепенно рос уровень потребления, что соответствовало и общим тенденциям развития западного общества, причем обладание новыми объектами собственности было престижным. В досоциалистической деревне владение землей, скотом и инструментом детерминировало социальный статус человека, при социализме объекты собственности потеряли свое значение, в постсоциалистические периоды смутные перспективы сельскохозяйственной занятости сделали наемный труд с гарантированной заработной платой более привлекательным, чем ведение собственного хозяйства.

Создание или реституция прав частной собственности не вели автоматически к становлению эффективного производства — наоборот, перераспределение прав собственности подорвало достижения зрелого социализма и функционирование коллективных хозяйств. Сегодня большинство собственников земли не живет в сельской местности, арендная плата за землю крайне высока — на фоне негативных экономических последствий изменения системы собственности назревают новые социальные конфликты. Повсеместная приватизация могла быть успешной только в том случае, если бы сопровождалась созданием земельного рынка и реализовывалась эффективной некоррупцированной бюрократической машиной — но это пока нереально в постсоциалистическом мире.

Таким образом, складывается следующая картина: на уровне институционального регулирования на смену марксистско-ленинской идеологии пришел «закон» (даже если сохранялся производственный цикл, как, например, в Восточной Германии, формально колхозы превращались в частные предприятия). Однако, как показывают наши исследования, реализация нового законодательства на практике до сих пор зависит от властных и неформальных отношений, то есть новая рыночная идеология неизбежно модифицируется прежними социокультурными нормами, сохранившимися со времен социалистического прошлого. В ходе деколлективизации руководство многих колхозов, сумевшее трансформировать свой прежний политический капитал в иные формы,

сохранило свой высокий социальный статус. Популярность бывших колхозных руководителей обычно объясняется поддержкой традиционной моральной экономики.

В целом на уровне социальных практик можно обнаружить массу общих черт между капитализмом, социализмом и постсоциализмом: с одной стороны, поведение людей всегда мотивировано стремлением максимизировать свою выгоду (люди ориентированы на потребление все большего числа товаров, особенно средств производства); с другой стороны, люди всегда прилагают усилия, чтобы не превратиться окончательно в *Homo economicus*, — поддерживают традиции кооперации, сети взаимной поддержки. Тем не менее различия между капитализмом и социализмом остаются весьма существенными. Ключевой вопрос здесь — насколько социалистические ценности совместимы с предшествующими им идеологиями и культурными практиками. Ход деколлективизации показывает, что в Восточной Европе и Китае коллективистские ценности равенства и кооперации выражены намного слабее, чем в России. Конечно, это можно связать с более длительным опытом социализма, однако необходимо учитывать и досоциалистические традиции [Nolan, 1995]. Не менее важны факторы природной и материальной среды, хотя рассматривать их следует в контексте исторического развития конкретных регионов: например, отмечена взаимосвязь между выращиванием риса и предпринимательской инициативой в Китае [Gray, 1986]; очевидно, что требования к почве для выращивания зерновых в Евразии существенно отличаются от таковых в овцеводстве Центральной Азии [Humphrey and Sneath, 1999].

В изучении постсоциалистических трансформаций сегодня начинает доминировать теория «новой институциональной экономики», которая подчеркивает «зависимость траектории» экономического развития от множества факторов, то есть выступает как предупреждение тем, кто уверен, что постсоциалистические трансформации можно быстро спроектировать сверху, изменив только систему отношений собственности. Неоинституционалисты акцентируют важность отношений собственности для изменения экономической ситуации [North, 1990], но рассматриваются в основном только их правовой «слой». Некоторые неоинституционалисты, тем не менее, признают, что последствия правовых изменений в отношении собственности зависят не только от экономических факторов (например, от наличия эффективных рынков), но и от их восприятия местными жителями, от неформальных норм взаимодействия местных сообществ, изучение которых, на наш взгляд, — прерогатива антропологов [Finke, 2000]. Многие ученые применяют новую институциональную теорию для объяснения успехов и неудач постсоциалистических трансформаций как «системного изменения» в мировой экономической истории. Данный подход имеет много сходств

с предлагаемым нами антропологическим подходом, который рассматривает, в первую очередь, вопросы практического воплощения постсоциалистических реформ.

Экономика, антропология и политика

В течение многих лет Мьеке Мёйрс (Mieke Meurs) ратует за более реалистичную оценку состояния аграрного сектора в Восточной Европе. По ее мнению, многие экономисты пребывают в «нирване», когда «обнаруживают» здесь окончательно сложившийся и прекрасно функционирующий рынок. Сравнивая Венгрию и Болгарию, она показывает, что в последнем случае реституция земельной собственности парадоксально упрочила позиции крупных предприятий, тогда как в Венгрии деколлективизация через систему компенсаций прежним собственникам способствовала быстрому формированию земельного рынка и укреплению института частной собственности (2001). Возникшие на базе прежних колхозов структуры предлагают выгодные «рациональные» условия новым частным землевладельцам, которые не планируют вести собственное хозяйство. Государство может активно способствовать развитию аграрного сектора, помогая мелким собственникам («новичкам») и поддерживая демократические формы управления коллективными хозяйствами.

Аналитическая модель Мёйрс включает в себя три измерения: производственные, транзакционные и социальные издержки. Анализ производственных издержек — прерогатива экономистов, которые различают по этому показателю наиболее и наименее предпочтительные с точки зрения развития частного предпринимательства отрасли сельского хозяйства. Однако даже на этом уровне антропологический анализ должен дополнять экономический: антропологи наглядно показывают, насколько актуален до сих пор классический чаяновский тезис о «самоэксплуатации» домохозяйств, как распределяется трудовая нагрузка между членами домохозяйств и т. д.

«Транзакционные издержки» — термин, введенный неoinституционалистами для обозначения тех ограничений, с которыми экономические акторы сталкиваются в результате неэффективного функционирования рынков или информирования. Так, Эндрю Картрайт обнаружил, что «местное право» затрудняет попытки государства ввести новые формы землевладения в Трансильвании (2000, 2001). В сельском хозяйстве транзакционные издержки у частных предпринимателей всегда выше, чем у руководителей крупных предприятий, потому что для выхода на рынок последние используют свои сетевые ресурсы («социальный капитал») [Lampland, 2002]. Таким образом, транзакционные издержки детерминированы взаимоотношениями внутри сообществ — необходимость антропологического подхода здесь очевидна.

Понятия «транзакционные издержки» все еще недостаточно для объяснения процесса принятия решений экономическими акторами. Поведение человека детерминируется социальными нормами, поэтому новые землевладельцы могут отказаться от ведения фермерского хозяйства, если социальные издержки этого будут слишком высоки. Так, знание той многовековой традиции коллективистских норм в Болгарии, которая сложилась задолго до социализма, помогает понять, почему процессы деколлективизации здесь имели иной характер, чем в Венгрии. К сожалению, экономистам сложно смоделировать уровень социальных издержек, даже дополнив статистические данные результатами эконометрических исследований и кейс-стади. «Транзакционные издержки» — общее понятие, «социальные издержки» — дополнительное, призванное спасти логику рационального объяснения, когда все иные возможности исчерпаны. Мейрс редко апеллирует к понятию социальных издержек, отдавая предпочтение транзакционным, например, ситуацию в Венгрии она объясняет быстрым формированием эффективных земельных рынков и реальной конкуренцией частного сектора и постсоциалистических крупных хозяйств, то есть считает, что сдача частных земельных наделов в аренду колхозам имеет исключительно экономическое объяснение.

Подобный подход не позволяет увидеть влияние норм и ценностей местного сообщества на экономическое поведение его членов. На протяжении ряда лет я проводил исследование моральной экономики в венгерской деревне Тазлар, где большая часть жителей постоянно пыталась как-то свести концы с концами в новых нестабильных экономических условиях. Мейрс считает, что новые паттерны поведения сельского населения — результат политических и экономических воздействий, согласующихся с ценностями местных сообществ. В начале деколлективизации в Тазларе группа активистов Партии независимых землевладельцев всячески способствовала полному развалу колхоза и передаче земли в частную собственность, то есть налицо была сильная антиколлективистская мотивация. Через несколько лет те же активисты оплакивали отсутствие экономической координации между фермерами и общих собраний, где они могли отстаивать свои интересы. Я не уверен, что за столь короткий промежуток времени ценности этих людей радикально поменялись.

Если экономисты разводят производственные, транзакционные и социальные издержки, то антропологи подчеркивает их взаимосвязь: нормы трудового поведения и моральные требования к членам сообщества постоянно уточняются в процессе социального взаимодействия. В случае с Венгрией Мейрс должна понимать, что «возникшие» коллективистские ценности явно противоречат ее предположению о «максимизации индивидуализма домохозяйств». Соображения «солидарности» часто оказываются причиной сохранения жителями коллективного хозяйства, даже если оно не может конкурировать с фермерскими, —

если мы хотим понять поведение, интересы и ожидания людей, необходимо обращаться к понятию «общая собственность». Транзакционные и социальные издержки ограничивают поведение индивидов и домохозяйств, и в то же время они – суть моральной экономики.

Расширение институционалистского понимания транзакционных и социальных издержек ставит под сомнение ряд постулатов теории рационального выбора. Экономические антропологи не отрицают, что рациональный стимул максимизации прибыли и его реальные ограничения многое объясняют в поведении людей и домохозяйств, однако сами экономисты в последнее время экспериментально обнаружили массу данных, ставящих под сомнение аксиомы *Homo economicus* (дополнительная критика основана на результатах полевых исследований антропологов). По нашему мнению, ориентация на максимизацию собственной выгоды – *недостаточное* объяснение реального поведения акторов в постсоциалистическом мире: многие люди высоко ценят коллективные хозяйства и негативно относятся к резкой дифференциации доходов, неизбежному спутнику рыночной экономики и частной собственности. Например, жители одного из наиболее развитых районов Китая преодолевают индивидуализм, сохраняя сети родственной поддержки; коллективистские ценности прочно укоренены в жизни сельской России, включая отдаленные северные районы, где основу моральной экономики составляют родственные узы и «закон тундры». Иными словами, коллективистские и индивидуалистические ценности могут прекрасно сосуществовать.

В отличие от идеологов рыночной экономики и частной собственности, утверждающих принцип «единообразия», Мейрс считает, что необходимо адаптировать экономические модели к местным условиям, допуская, тем самым, возможность появления альтернативных организационных форм. Например, имеет смысл стимулировать развитие коллективных хозяйств в тех регионах, где частный сектор по определению не может с ними конкурировать, одновременно поддерживая частную инициативу во всех остальных случаях. Однако Мейрс исключает возможность поддержки кооперации ради нее самой, для процветания моральной экономики местного сообщества, а не с целью преодоления рыночных трудностей. Иными словами, она не видит оснований для сохранения коллективных предприятий в тех случаях, когда рыночные условия требуют частной инициативы, и аплодирует венгерскому частному сектору, быстрая экспансия которого разрушила социальные нормы, детерминирующие высокую производительность социалистического сельского хозяйства. Мейрс не учитывает последствий жесткого разграничения фермерского хозяйства и коллективистских ценностей, демонстрируя приверженность методологическому индивидуализму либеральной экономики, что в целом снижает качество ее рекомендаций. Подобное тяготение Мейрс к «рыночному фундаментализму»

объясняет, почему неоинституционалисты не оправдали возлагаемых на них надежд объединения антропологического и экономического подходов [Acheson ed., 1994].

Антропологи, знакомые со спецификой развития аграрных обществ до, в процессе и после коллективизации, могли предупредить правительства, что развал социалистических форм хозяйства на селе приведет к множеству проблем, что попытки восстановить прежние формы собственности будут экономически неэффективны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что уровень жизни в сельской местности резко снизится по сравнению с городами. Антропологи могли предоставить правительствам данные о том, как местные жители оценивают происходящие изменения: в одних регионах они не были заинтересованы в развале колхозов и с опаской ожидали того, что придет им на смену; в других — выступали за немедленную реституцию прежних прав собственности, считая этот шаг моральным императивом. То, что антропологи подчеркивают необходимость учета местных условий, не говорит о том, что руководство страны не может рассчитывать на их рекомендации в принятии общих решений. Дело в том, что за заботой антропологов об учете специфики сельских сообществ лежит один ключевой принцип, которому должны следовать все реформаторы: нельзя лишать сельское население тех институтов, которые формируют ядро моральной экономики. Даже если местные жители резко настроены против колхозов, нужно понимать, что создать их функциональные аналоги в контексте моральной экономики практически невозможно. Антропологи далеко не всегда выражают принципиальный скептицизм относительно экономических реформ, направленных на развитие конкуренции частных предпринимателей, — они могут поддерживать ориентацию реформаторов на рационализацию сельскохозяйственного производства, если она учитывает региональные различия в ценностно-нормативных системах моральных экономик. Главное требование антропологов — не соглашаться с неолиберальными рекомендациями априори: нужно знать и понимать, чего хочет местное сообщество, уважать его способность к самоорганизации, а не навязывать стандартные либеральные модели.

Учитывая базовые принципы постсоциалистического правового и конституционного порядка и репрессивный характер коллективизации, в начале 1990-х годов, вероятно, действительно не было альтернатив программам создания семейных ферм и частной собственности на селе за счет разрушения колхозов. Но эти программы можно было скорректировать позже, когда стали очевидны их негативные последствия. Мы считаем, что потребность в непредвзятом научном анализе ситуации в аграрном секторе как на локальном, так и общегосударственном уровне сегодня как никогда высока. Обратят ли на политики и прочие

лица, принимающие решения, внимание на его результаты – это уже другой вопрос.

Заключение: аграрная ситуация в Евразии

Евразийское сельскохозяйственное пространство крайне разнообразно – так было при социализме и после него. Особенно резко контрасты в России, где, несмотря на законодательные и другие меры, число частных собственников и предпринимателей до сих пор невелико, а также в Китае, где постмаоистские реформы способствовали созданию массового слоя предпринимателей без четко прописанных прав собственности. В Восточной Европе вопросы собственности уже решены: например, в Болгарии и Венгрии сосуществуют коллективные хозяйства, основной агент модернизации сельскохозяйственного производства, и частные домохозяйства, получившие государственную поддержку. Подобные примеры – наглядная альтернатива классических моделей трансформации отсталых аграрных обществ.

Слова «коллектив» и «кооператив» были идеологически перемешаны в социалистических реалиях, поэтому перераспределение земельной собственности принесло людям, по крайней мере, моральное удовлетворение. Но сегодня многие землевладельцы открыто критикуют ход приватизации, говорят о девальвации своих прав собственности, настаивают на необходимости воссоздания форм коллективного взаимодействия для совместного решения возникающих проблем.

Либералы и социалисты придают особое значение правам собственности, отдавая приоритет, соответственно, исключительно частным или коллективным ее видам. Подобный упрощенный подход не может быть эффективным: социалистические системы не ограничивают индивидуальные права своих граждан на многие «вещи», либеральные режимы опираются на государственное регулирование. Нам нужны более реалистичные подходы, в рамках которых исследования отношений собственности будут учитывать не только «частные права» на «вещи», но также неформальные правила и нормы социального взаимодействия относительно данных «прав».

Аграрный вопрос – это совокупность экономических и социальных вопросов. Процесс огораживания в Англии наглядно показал разрушительное воздействие капитализма на сельское хозяйство именно с точки зрения моральной экономики. Марксизм предложил решение аграрного вопроса в виде совхозов и колхозов как тотальных социальных институтов [Humphrey, 1995], которые выполняли экономические и политические функции и одновременно гарантировали социальное благополучие сельского населения. Колхозы и совхозы были частью иерархически структурированной централизованной системы, которая по определе-

нию исключала возможность создания свободных рынков и развития механизмов конкуренции, насильственно разорвав связь человека и домохозяйства с землей.

Стандартный постсоциалистический рецепт для сельского хозяйства не отличается от остальных секторов экономики: частная собственность на средства производства и рыночная конкуренция – в итоге большинство колхозов было разрушено, а сохранившиеся отказались от социальной поддержки села. По сравнению с горожанами, сельские жители были «подготовлены» к постсоциализму в том смысле, что имели частную собственность (земельные наделы, дома), поэтому переход от социализма к рынку оказался для них менее болезненным. Тем не менее социалистическое наследие на селе все еще живо: несмотря на радикальные идеологические и правовые реформы, люди сохраняют верность базовым ценностям прежней моральной экономики, в частности, ожидая, что руководство предприятий, возникших на месте прежних колхозов, будет оказывать им социальную поддержку.

Экономисты полагают, что если сохранить прежнюю модель колхоза в условиях рынка, но освободить людей от тирании социальных норм, то «очевидные» преимущества классического либерализма так нахлынут, что члены бывшего колхоза откажутся от своих ценностно-ориентированных ожиданий в отношении его нынешнего руководства. Утверждать так наивно и ошибочно: во-первых, капиталистические трудовые отношения также базируются на сложном взаимодействии работников и руководства, особенно в регулировании уровня заработной платы и особенно в сельском хозяйстве. Даже самые радикальные варианты постсоциалистического перехода не смогли уничтожить традиционных форм социального взаимодействия: если транснациональные компании в городах не могут изменить трудовые привычки местных кадров [Dunn, 1999], что же говорить о деревне?

Во-вторых, следует учитывать реальный контекст сельскохозяйственного развития на западе – современный «рынок» здесь настолько сильно трансформировался под влиянием политических и социальных факторов, что мало напоминает первоначальную викторианскую модель *laissez-faire*. Безусловно, рыночная конкуренция сохраняет свои доминантные позиции, но подвергается постоянным политическим воздействиям и регулированию. Например, многие восточно-европейские колхозы смогли выжить в новых экономических условиях благодаря субсидиям Европейского Союза и разработанной им системе сельскохозяйственных квот. Иными словами, сегодня на западе мы видим внедрение новых стратегий развития аграрного сектора, которые не применялись в ходе постсоциалистических трансформаций. Странно, что рыночные фундаменталисты продолжают ратовать за честность и прозрачность в ситуации, когда сельское население пост-

социалистических стран не понимает, почему оно должно отказаться от тех достижений развитого социализма в сфере социальной поддержки, которые, пусть и в несколько модифицированном виде, считаются на западе чем-то само собой разумеющимся. Все больше граждан постсоциалистических стран считают частную собственность на землю неравноценной заменой утраченных социальных гарантий.

Антропологи давно отказались от изучения сельского сообщества как микрокосмоса внутри более широкой социальной системы и считают разрабатываемый Европейским Союзом подход, учитывающий специфические проблемы аграрного сектора, первым шагом на пути переоценки роли рынка и частной собственности. Нет смысла отрицать либеральные институты или методологический индивидуализм — просто они должны получить адекватную оценку, впрочем, как и другие принципы — социальной солидарности, моральной справедливости, устойчивого развития и т. д. Социалистическое наследие (инфраструктура, институты и нормы) не могут быть уничтожены и насильственно заменены достаточно иллюзорной копией капиталистической семейной фермы. Неолиберальные модели не менее идеологизированы, чем вытесняемые ими социалистические. В некоторых странах они соответствуют популистским традициям отстаивания прав частной собственности на землю, но даже здесь сельские жители все чаще ощущают себя жертвами постсоциалистических трансформаций, видя, как увеличивается сократившийся при социализме разрыв в уровне жизни между городом и селом.

Список литературы

- Acheson J. M.* (Ed.). *Anthropology and institutional economics* // *Monographs in economic anthropology*. № 12. Lanham, MD: University Press of America, 1994.
- Anderson D. G.* *Property as a way of knowing on Evenki lands in Arctic Siberia* // С. М. Hann (Ed.). *Property relations: renewing the anthropological tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Brandtstädter S.* *Redefining place in Southern Fujian: how ancestral halls and overseas mansions re-appropriate the local from the State* // Working paper 30. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2001.
- Bray F.* *The rice economies: technology and development in Asian societies*. Oxford: Blackwell, 1986.
- Cartwright A. L.* *In from the margins? State law and the recognition of property in rural Romania* // Working paper 10. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2000.
- Cartwright A. L.* *The return of the peasant: land reform in post-communist Romania*. Andershot: Ashgate/Dartmouth, 2001.
- Cellarius B.* *'You can buy almost anything with potatoes': an examination of barter during economic crisis in Bulgaria* // *Ethnology*. 2000. № 39. P. 73–92.
- Chevalier S.* *Spheres of exchange in the Bulgarian transition* // Working paper 24. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2001.

Creed G. W. The politics of agriculture: identity and socialist sentiment in Bulgaria // *Slavic Review*. 1995. № 54(4). P. 843–868.

Creed G. W. Domesticating revolution: from socialist reform to ambivalent transition in a Bulgarian village. University Park: Pennsylvania State University Press, 1998.

Danilov V. P. Developing, then crushing, peasant farming // M. Meurs (Ed.). *Many shades of red: state policy and collective agriculture*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1999. P. 35–95.

Dunn E. Slick salesman and simple people: negotiated capitalism in a privatized Polish firm // M. Burawoy and K. Verdery (eds). *Uncertain transition: ethnographies of change in postsocialist world*. Lanham MD: Rowan and Littlefield, 1999. P. 125–150.

Fiege U. and Hinners-Tobrägel L. Die transformation landwirtschaftlicher unternehmen in Ostdeutschland: ein modellfall für den EU-beitritt Polens und Ungarns? // IAMO. 2002. P. 27–34.

Finke P. Changing property rights system s in Western Mongolia: private herd ownership and communal land tenure in bargaining perspective // Working paper 3. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2000.

Fondahl G. Gaining ground: Evenkis, land and reform in Southeastern Siberia. Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Giordano C., Kostova D. and Lehmann-Minka E. (eds). *Bulgaria: social and cultural landscapes*. Fribourg: University Press, 2000.

Gluckman M. The ideas in Barotse Jurisprudence. New Haven, CT: Yale University Press, 1965.

Hann C. M. Introduction: the embeddedness of property // C. M. Hann (Ed.). *Property relations: renewing the anthropological tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 1–47.

Humphrey C. Marx went away – but Karl stayed behind. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998.

Humphrey C. and Sneath D. The end of nomadism? Society, state and the environment in Inner Asia. Cambridge: White Horse Press, 1999.

Kaneff D. Responses to ‘democratic’ land reforms in a Bulgarian village // R. Abrahams (Ed.). *After socialism: land reform and social change in Eastern Europe*. Oxford: Berghahn, 1996. P. 85–114.

Kaneff D. Property, work and local identity // Working paper 15. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2000.

Kerans D. Mind and labor on the farm in Black-Earth Russia, 1861–1914. Budapest: Central European University Press, 2001.

Kingston-Mann E. Lenin and the problem of Marxist peasant revolution. New York: Oxford University press, 1983.

Koester U. E. and Brooks K. M. Agriculture and German unification. // World Bank Discussion paper 355. Washington, DC: World Bank, 1997.

Konstantinov Y. and Vladimirova V. Ambiguous transition: agrarian reforms, management, and coping practices in Murmansk reindeer herding // Working paper 35. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2002.

Kovach I. Cooperative farms and household plots // M. Meurs (Ed.). *Many shades of red: state policy and collective agriculture*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1999. P. 125–149.

- Kovacs K. et al.* Restructuring post-socialist agriculture // Special issue of *Republica*. 1998. P. 139–221.
- Lampland M.* The advantages of being collectivised: collective farm managers in the postsocialist economy // C. M. Hann (Ed.). *Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia*. London: Routledge, 2002. P. 31–56.
- Leonard P. and Kaneff D.* (eds). *Post-socialist peasant? Rural and urban constructions of identity in Eastern Europe, East Asia and the former Soviet Union*. Basingstoke: Palgrave, 2002.
- Meurs M.* *The evolution of agrarian institutions*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001.
- Newbery D. M.* *The safety net during transformation: Hungary* // Working paper. Cambridge: Cambridge University, Department of Applied Economics, 1991.
- Nolan P.* *China's rise, Russia's fall: politics, economics and planning in the transition from Stalinism*. Basingstoke: Macmillan, 1995.
- North D.* *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Ruf G. A.* *Cadres and kin: making a socialist village in West China, 1921–1991*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.
- Schlicht E.* *On custom in the economy*. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Shanin T.* *Late Marx and the Russian road: Marx and the 'Peripheries of capitalism'*. London: Routledge and Kegan Paul, 1984.
- Swain N.* The evolution of Hungary's agricultural system since 1967 // P. Hare, H. Radice and N. Swain (eds). *Hungary: a decade of economic reform*. London: George Allen and Unwin, 1981. P. 225–251.
- Swain N.* *Collective farms which work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Swain N.* *Agricultural restitution and co-operative transformation in the Czech Republic, Hungary and Slovakia* // *Europe-Asia Studies*. 1999. № 51(7). P. 1199–1219.
- Swain N.* *The rural transition in post-socialist Central Europe and the Balkans* // Working papers 9. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2000.
- Tepicht J.* A project for research on the peasant revolution of our time // *Journal of Peasant Studies*. 1975. № 2(3). P. 257–269.
- Treadgold D.* Was Stolypin in favour of kulaks? // *Slavic Review*. 1955. № 14. P. 114.
- Wädekin K.-E.* *Agrarian policies in communist Europe: a critical introduction*. Dordrecht: Nijhoff, 1982.

(Пер. с англ. канд. социол. наук И.В. Троцук)

Крис Ханн
 PhD Santab, директор Института антропологии Макса Планка
 Галле, Германия
 электронная почта: hann@eth.mpg.de
